

Александр Куприн

Царский писарь



Александр Иванович Куприн

Царский писарь

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=2474635
Париж интимный: Эксмо; Москва; 2006
ISBN 5-699-17615-2

Аннотация

«Знакомство мое с Кузьмой Ефимычем относится к тому бесконечно далекому времени, когда при устье Невы стоял не Петроград, а Петербург, когда прохожие не падали в обморок от полуденной пушки, когда извозчик от Николаевского вокзала до Новой деревни рядился не за два с полтиной, а ехал за восемь гривен, когда малая французская булка с хрустящей корочкой стоила три копейки, а десяток папирос «Мечты» – шесть, когда монументальный постовой городской был кумом, сватом и желанным гостем на пироге с вязигой у всех своих кротких подданных, когда в субботу вечером, встретясь с другом на улице, никто не стыдился признаться, что он идет от всенощной в баньку, когда арестанты в серых халатах чинили под надзором добродушных солдат мостовые, а не заседали в Конvente и когда на Сенатской площади еще высился свергнутый

впоследствии бронзовый конь, вздыбившийся под своим прекрасным и гордым всадником...»

Содержание

I	5
II	12
III	22

Александр Иванович Куприн Царский писарь

I

Знакомство мое с Кузьмой Ефимычем относится к тому бесконечно далекому времени, когда при устье Невы стоял не Петроград, а Петербург, когда прохожие не падали в обморок от полуденной пушки, когда извозчик от Николаевского вокзала до Новой деревни рядился не за два с полтиной, а ехал за восемь гривен, когда малая французская булка с хрустящей корочкой стоила три копейки, а десяток папирос «Мечты» – шесть, когда монументальный постовой городской был кумом, сватом и желанным гостем на пироге с вязигой у всех своих кротких подданных, когда в субботу вечером, встретясь с другом на улице, никто не стыдился признаться, что он идет от всеобщей в баньку, когда арестанты в серых халатах чинили под надзором добродушных солдат мостовые, а не заседали в Конвенте и когда на Сенатской площади еще высился свергнутый впоследствии бронзовый

конь, вздыбившийся под своим прекрасным и гордым всадником.

Тогда на углу Фонтанки и Чернышева переулка существовала пивная лавка, невзрачная снаружи, темноватая внутри, но бойко торговавшая «Старой Баварией», к которой бесплатно подавалось пять-шесть крошечных блюдечек с заедками: пряничками, моченым горохом, сметками, строганой воблой, ржаными сухариками и микроскопическими ломтиками кобылячей колбасы. А гордостью заведения были «свежие раки», варившиеся очень вкусно, с перцем, луком, лавровым листом и громадным количеством соли и потому требовавшие к себе великого пива.

Кузьма Ефимыч был там постоянным, ежедневным посетителем лет, должно быть, уже более тридцати и хотя за пьянство не пользовался особым почетом, но если, случалось, он не приходил в свое обычное время, четверть первого, то и толстый лысый хозяин в кожаных нарукавниках и расторопные любимовцы-услужующие чувствовали некоторое беспокойство: нет-нет, а заглянут мимоходом в окно и скажут, точно про себя:

– А нашего Кузьму Ефимыча что-то не видать...

И все они с каким-то облегчением, немножко покровительственно, немножко насмешливо улыбались, когда в дверях появлялся этот худой, жилистый ста-

рикан, с важной, мелкой и неторопливой походкой, с высокомерно поднятой головой, сизым носом лепешкой и с трясущимися до первой рюмки руками.

У Кузьмы Ефимыча было в пивной свое любимое, насиженное годами местечко, справа от окна, напротив стойки. На стене, на уровне его головы, через месяц после того, как меняли обои, уже обозначалось темное сальное овальное пятно от трения влево и вправо его седого затылка. Здесь он с суровой надменностью жреца принимал своих клиентов, тех маленьких людей, кому надо было подать к высоким людям деловую или просительную бумагу, изложенную в одном длинном курчавом предложении и написанную великолепнейшим почерком.

У него была своего рода прочная известность. Приходила иногда в пивную какая-нибудь старушонка в допотопном шелковом салопе на лисьем меху и спрашивала хозяина:

– А где у вас здесь, батюшка, царский писарь?

Ей молчаливо указывали рукой на Кузьму Ефимыча. Она подсаживалась и говорила о своих вдовьих нуждишках. Для верности руки на столе появлялась сороковка. Мальчишка отряжался в писчебумажный магазин за особой царской бумагой. «Ты смотри, Митя, там скажешь, чтобы дали не директорской бумаги и не министерской, а именно царской. Для меня,

скажи, для Кузьмы Ефимыча». – «Не беспокойтесь, знаю, Кузьма Ефимыч. Не в первый раз». И бережно приносил бристо́льский лист в обертке, не помяв его и не согнув, а также и новое перо № 86. Тут уже никто в пивной не смеялся. Все понимали, что дело идет серьезное. А пригубившая винца почтенная женщина заранее слезилась.

– Ты, matka, не утопай в подробностях, – говорил Кузьма Ефимыч, оседлывая нос черепаховыми очками. – Дело требует ясности и простоты. Писать прошение на высочайшее имя – это тебе не роман сочинять. Ну, так ты говоришь, что вдова зверовщика?

– Да, отец мой, вот, вот, зверовщика, зверовщика.

– Говоришь, загрыз его медведь?

– Загрыз, батюшка, загрыз. Но медведь-то здесь без внимания. Одно только слово, что зверь был, а проще теленка. Четыре года за ним покойник мой ходил. Совсем почти что ручной. Мы сами-то егеря гатчинские, при царской охоте, значит, состоим, так кого угодно спросите, хоть господина начальника охоты, хоть генерала Птицына, хоть самого корытничего Баранова, который при меде́лянах. Вам каждый мои слова заудостоверит. А только какой-то охаверник возьми и страви зверю бутылку винища. Правда, муж недоглядел. Как пошел к нему в яму, он его припер в дверях и не пропускает. Ну, а он...

– Короче, вдова. О чем просишь?

– Да вот, хоть бы пенсиюшку бы превеличили. Дорого теперь все стало. Курочек я держу, так овес по рублю пуд. Подумайте! Да и это не суть важно. А вот чтобы детишек на казенный счет воспитать. Нельзя ли это как-нибудь?

– Мм... Сыновья? дочери?

– Внуки, батюшка, внуки. Две девочки и мальчонка. Старшей-то девочке...

– Внуки. Так. А ну, матушка, помолчи малость. Стало быть, Завертяева Анна Архиповна? вдова зверовщика? жительствоешь...

– Так, так, так, батюшка, вдова, вдова. Жительствую.

– Улица? номер дома?

– Пиши: Гатчино, Пильня, Крайняя улица, дом Распопова, номер девяносто четыре, как раз против лавки купца Трескунова.

– Про лавку лишнее. Довольно. Теперь засохни на минуту. Не скворчи.

И он писал своим круглым военным писарским почерком, точно печатал, незыблемый текст прошения.

«Ваше императорское величество, всепресветлейший державнейший великий государь и самодержец всероссийский, просит вдова зверовщика гатчинской охоты Сергия Михеева Завертяева, Анна Архиповна

Завертяева, к сему:

Припадая к отеческим стопам твоим, обожаемый монарх, и омывая оные вдовьими слезами, всеверноподданнейше прошу...» – и так далее.

Через четверть часа бумага бывала готова, и трудно было поверить, что человеческой рукой, а не машиной вырисованы эти ровные, твердые, чистые, как подобранные жемчужины, буквы и строки. Вдова доставала носовой платок, развязывала узелок и почтительно подавала Кузьме Ефимычу сложенную в шестьдесят четыре раза рублевку. Бумага, перо и конверт были тоже на ее счет.

– Так ты говоришь, Кузьма Ефимыч, что верное мое дело? – спрашивала старуха, тревожимая последним беспокойством.

Кузьма Ефимыч не отвечал, потому что занят был заказыванием порции любимых сосисок с хреном. За него уверенно говорил хозяин из-за своего прилавка, на котором он лежал локтями, брюхом и грудью:

– Будьте, бабушка, без сомнения. Кузьма Ефимыч как стрельнет, так в самую центру, без промаха. Воистину золотым пером человек обладает. Шутка ли сказать – царский писарь. Если бы не эта самая ихняя слабость...

– Ты там помолчи в тряпочку, – перебивал Кузьма Ефимыч, поднимая на него суровый взгляд своих при-

щуренных и опухших глаз. – Знай свою стойку, русский американец из Ярославской губернии. А ты, вдова, ступай себе с богом. В канцелярии у швейцара узнаешь, кому надо сунуть. И ему дашь полтинник. И нечего тебе, почтенной женщине, по пивным размножаться. Гряди, вдовица, с миром.

Да, в нем было довольно-таки много чувства собственного достоинства – в этом живом свидетеле николаевских времен, похожем на те обломки старины, которым мох, зелень и разрушение придают такой значительный вид. На людей толпы он глядел свысока, точно поверх их голов, как часто глядят на новое поколение старые знаменитости, ушедшие на покой от шума и соблазнов, но еще сохранившие их в памяти сердца.

II

Людьми пожилыми, даже не отличающимися особенно тонкой наблюдательностью, давно уже замечено, что среди современников исчезает мало-помалу простое и милое искусство вести дружескую беседу. Несомненно, что главная причина этого явления — уторопленность жизни, которая не течет, как прежде, ровной ленивой рекой, а стремится водопадом, увлекаемая телеграфом, телефоном, поездами-экспрессами, автомобилями и аэропланами, подхлестываемая газетами, удесятренная в своей поспешности всеобщей нервностью.

В литературе стал редкостью большой роман: у авторов хватает терпения только на маленькую повесть-шушку. Четырехактная комедия разбилась на четыре миниатюры. Кинематограф в какие-нибудь два часа покажет вам войну, охоту на тигров, скачки в Дерби, ловлю трески, кровавую трагедию и уморительный до слез водевиль, а также виды Калькутты и Шпицбергена, бурю в Атлантическом океане, Альпы и Ниагару.

Устный рассказ сократился до анекдота в двадцать слов. Но, главное, совершенно пропало умение и желание слушать. Исчез куда-то прежний внимательный, но молчаливый собеседник, который раньше пе-

реживал в душе все извивы и настроения рассказа, который отражал невольно на своем лице всю мимику рассказчика и с наивной верой воплощался в каждое действующее лицо. Теперь всякий думает только о себе. Он почти не слушает, стучит пальцами и двигает ногами от нетерпения и ждет не дождется конца повествования, чтобы, перехватив изо рта последнее слово, поспешно выпалить:

– Подождите, это что! А вот со мной какой случай случился...

Про самого себя я скажу без похвальбы – да тут и хвастовство-то самое невинное, – про себя скажу, что я обладаю в значительной степени этим даром слушать с толком, с увлечением и со вкусом или, вернее, не утратил его еще со времен детства. Может быть, именно оттого-то несловоохотливый и по-своему гордый Кузьма Ефимыч изредка расшевеливался в беседе со мною и даже снисходил до эпического монолога.

Случалось это в зимние вечера, так часов около трех-четырёх. Обыкновенно в этот пустой деловой промежуток в пивной совсем не бывало посетителей, и хозяин, из экономии, еще не приказывал зажигать ламп. Но зато топилась печка, весело шипели и потрескивали дрова, а по стенам трепетно бегали, путаясь попеременно, красные пятна от огня и длинные

быстрые тени. Иногда из темноты выделялись – то короткая седая борода Кузьмы Ефимыча, похожая на розовую пену, то его блестящий прищуренный глаз, с дрожащим заревом в зрачке, то рука с пивной кружкой. Бывало уютно, праздно, мечтательно-тихо.

– Вот вы удивляетесь моему почерку, что я так его сохранил до моих мафусаиловых лет, – говорил Кузьма Ефимыч неторопливым, сипловатым баском. – Но удивительного ничего. Привычка. Возьмите вы к примеру, скажем, столяра-краснодеревца, хотя бы самого старого-престарого. У него какие материалы под руками? Пемза, замша, наждачная шкурка, политура, лак, столярный клей. Средства все грязные, грубые, и руки у него от работы скрюченные, корявые, черные, в мозолях. А сдаст он заказ без малейшей фальши, без пятнышка. В стол красного дерева можно, как в зеркало, глядеться. Никакому белоручке так чисто не разделать. И если он выпьет малую толику, то сие не только не во вред, а как бы для поднятия духа. Так вот и мы, старинные писаря. Особливо царские.

Мы, молодой человек, когда учились-то? С кантонистов еще при блаженной памяти государе Николае Павловиче. Тогда, брат, учение было не нынешнему чета. Тогда тебя не особенно спрашивали, к какому ты мастерству, миленький мой, склонен, а прямо определяли пророчески, по физиогномии наружности. Этому

играть в оркестре на турецком барабане, этому быть чертежником, тому петь в церковном хоре басом, другому служить фельдшером, а третьему быть писарем. И вышколивали. Семь шкур с человека спустят, а доведут до совершенства точки.

Тогда во всем господствовало однообразие и равенство направо. Все равнялось: люди, лошади, будки, абвахты, студенты, фонари и улицы. Все чтобы было в линию и двух цветов – желтого и черного – императорских. Слыхали, наверно, рассказ? Делал однажды смотр Николай Павлович лейб-гвардии сводной роты, назначенной в почетный караул к германскому королю. Человек к человеку были подобраны. Все трынчики, ухорезы. Так вот подошел государь к правому флангу, пригнулся чуть-чуть и смотрит вдоль фронта. А уж, сами понимаете, каков строй: ружье в ружье, кивер в кивер, нос в нос. Усы у всех ваксой с салом начернены, сбоку поглядеть – одна черная полоса всю длину. Посмотрел, посмотрел государь минуты с три, но потом выпрямился и изволил глубоко вздохнуть. Тут рядом, позади, находился приближенный генерал Бенкендорф, так осмелился спросить: «Дышут, ваше императорское величество?» А государь ему с прискорбием: «Дышут, подлецы!» Вот какие, голубчик мой, истуканные времена были.

То же и в нашем писарском искусстве. Учили нас

всех писать единообразно, почерком крупным, ясным, чистым, круглым и весьма разборчивым, без всяких нажимов, хвостов и завитушек. Он и назывался особо: военно-писарское рондо, – чай, видели в старинных бумагах? Красота, чистота, порядок. Полковая колонна, а не страница.

Сколько я из-за этого рондо жестокой учебы принял, так и вспомнить страшно. Сидишь, бывало, за столом вместе с товарищами и копируешь с прописи: Ангел, Бог, Век, Господь, Дитя, Елей, Жизнь... – а учитель ходит кругом и посматривает из-за плеч. Ну, бывало, не остережешься, поставишь чиновника, сиречь кляксу, или у «щ» хвостик завинтишь на манер поросячьего, а он сзади сграбастает тебя за волосы на макушке и учнет в бумагу носом тыкать: «Вот тебе рондо, вот тебе клякса, вот тебе вавилоны». Всю бумагу, бывало, собственными красными чернилами зальешь.

Зато и учитель у меня был. Орел! Всегда важнейшие бумаги на высочайшее писал. Сидоров, – может быть, слышали? Нет? Мудреного мало. Времена давнишние. А был он человек замечательный, этот Тихон Андреич Сидоров, царство ему небесное. В некотором отношении даже историческая личность.

Государь Николай Павлович, по своей сверхчеловеческой природе, был ужас какой обонятельный, то есть, я хочу сказать, до чрезвычайности чувствитель-

ный ко всяким запахам. Однажды, принимая доклады, взял он из рук министра какую-то бумагу, чтобы ее лично поближе рассмотреть, и поморщился. Спрашивает министра: «Что это ты, неужели табак нюхать начал?» У того коленки друг о дружку застучали. «Подобным делом никогда не занимался, ваше императорское величество, должно быть, писарь как-нибудь не уберется». – «Какой такой писарь?» – «Сидоров, ваше императорское величество». – «Внушить Сидорову, чтобы вперед был осмотрительнее. А почерк у него, каналы, хорош, даром что нюхальщик».

В тот же день Сидорову внушили. Сами можете вообразить, каково было внушение: две недели человек не мог ни на табурет сесть, ни на спину лечь. Если бы не милостивое царское слово напоследок о почерке, то, может, и в живых бы Тихон Андреич не остался... Но все равно и так погиб... Запил мой учитель с этого часа, подобно змию... До лютости. С утра до вечера ходил, как дым, пьяный. Но почерка, заметьте, не утратил, даже как бы окреп в нем и ожесточился.

И вот через полгода – новое чудо. В одно утро был опять наш министр с высочайшим докладом, и, должно быть, на этот раз император изволил проснуться в легком и светлом расположении духа. Был милостив и даже слегка шутив. Попался ему на глаза какой-то доклад. Он указал перстом и говорит: «Какой отлич-

ный почерк. А ведь я, говорит, даже узнал, кем писан. Это писал мой знакомый писарь Сидоров, тот, что нюхает табак. Ну, что, угадал?»

Всем известно, что Николай Павлович памятью отличался почти божеской. Но если бы даже и не отгадал... так разве цари могут ошибаться? Министр, конечно, подтвердил, но сердце у него было, как ледяная сосулька. «Вдруг, думает, бумага опять табаком провоняла? Ну, думает, подожди ты у меня, расщучий сын Сидоров, угощу я тебя такой понюшкой, что твои правнуки чихать будут. По зеленой улице проведу!» А зеленая улица – это значило сквозь строй. До смерти забивали.

Однако вышло совсем наоборот. Николай Павлович улыбнулся благосклонно и промолвил: «Награждаю моего писаря...» Так и сказать изволил: моего писаря. «Награждаю, говорит, моего писаря Сидорова серебряной табакеркой с изображением государственного герба и с надписью: „Моему писарю“.

Тут пошла уже другая музыка. Все начальство, как есть, кинулось лично поздравлять Тихона Андреевича, от самой мелкой сошки до директора департамента, и министр ему собственноручно табакерку царскую предподнес.

Однако недолго Сидоров на государев дар порадовался. Первое – не мог он от своего виновкушения от-

решиться, а второе – сошел с ума на гордости. Требовал себе от всех рабского почтения и страшно разоврался. Под конец начал такую околесину плести, что будто и лично он с государем виделся много раз, и будто государь с ним о важных делах Российской империи советовался, и будто чай он во дворце, в царской семье, пил с ромом и с тминными крендельками. И кончил он жизнь у «Всех скорбящих».

Оно и не удивительно было маленькому существу от такой царской милости в уме помешаться. Ведь какого масштаба император был! Единым взором мог человека в соляной столб обратить, на манер жены Лота. Я вот как-то с одним старым генералом разговорился: был у него по нашему, по писарскому делу. Не из нынешних паркетных щелкунов, а старого закала генерал, боевой. Он мне и рассказал следующее. Произвели их из кадетского корпуса в первый офицерский чин, и поехал он в теткиной одноконной карете делать визиты. Известно, что вновь испеченному прапорщику море по колено, и в первые три дня весялятся они напропалую. Ну, а этот возьми да в своей карете и закури сигару – так, больше из модного шик, да еще из молодого озорства, потому что курить тогда на улице всем и каждому строжайше воспрещалось. И вот как раз около кондитерской Доминика навстречу ему Николай Павлович на паре серых. Мчит-

ся, как молния! Прямо, точно памятник! От ветра орлиные перья на каске раздуваются, пелерина по воздуху трепещет! И вдруг сквозь каретное стекло увидел прапорщика с сигарой. Только взглянул и пальцем ему погрозил.

Так генерал говорил мне: «Я, говорит, этого взгляда по самый гроб не забуду. Все я в жизни перенес: сражения, восстания, опасности, раны, смерть близких людей, но подобного ужаса ни разу не испытывал. Проснусь, говорит, иногда ночью, вспомню взор этих грозных глаз и от испуга головой под одеяло. И умирать буду – не о смерти подумаю, а об этом страшном взгляде».

Да-с. Вот внучка у меня есть – Глашенька, Глафира Денисовна, служит она в библиотеке. Так *что* она мне говорит, если бы вы, молодой человек, послушали! «Твой Николай был палач, говорит, коронованный убийца, душитель слова и мысли, жандарм Европы!» И пойдет, и пойдет. «Всю Россию, кричит, исполосовал розгами и залил кровью, на три века остановил страну в развитии, унизил и оподлил ее хуже всякого рабства!» Что мне ей отвечать на все эти слова? Я молчу. Умом знаю, что Глашенька права, но вот тут, в груди, в душе-то, не могу, не смею его осуждать. Как родился его рабом, так рабом и подохну. Я думаю, когда у собаки помрет строгий хозяин, то она, наверно, с уми-

лением вспоминает, как он лупил ее плеткой, и плачет в своем собачьем сердце.



Кузьма Ефимыч углубляется в тень и молчит некоторое время. Потом, откашлявшись, он прихлебывает из кружки и продолжает гораздо спокойнее:

– Ну вот, значит, объявили освободительный манифест. Сократили и прежний срок военной службы. Вышел я в чистую отставку и очень скоро порастерял своих прежних товарищей: кто из них умер, кто возвратился на родину, а прочие исчезли где-то в неизвестности.

Нас, царских писарей, осталось очень мало, все наперечет, и с каждым годом число наше убывало. Нельзя, конечно, сказать, чтобы не нарождалось новых людей с хорошими почерками. Но одно дело – каллиграфия, а другое – военно-писарское рондо. У молодого поколения не было той железной выучки, как у нас, не было нашего терпения, нашего опыта, нашей смелости руки, нашей чистой работы, уверенности и глазомера. Мы были сидоровской выучки, так сказать, высокой старинной марки, редкого заводского тавра. Это в департаментах знали и чувствовали. Хотя с освобождением и рухнули многие великие столпы и закатились многие яркие звезды, но нас, царских писарей, этот переворот не коснулся. А так

как все мы стали вольнонаемными, то, стало быть, и пришел на нашу улицу праздник.

В канцеляриях мы были, если говорить по-нынешнему, гастролерами, вроде, например, как знаменитый ваш Шалапин. И понимали о себе ничуть не меньше, чем он. Придешь, бывало, в министерство оборванным, в опорках, чуть-чуть хмельной, но на всю эту чиновничью мелюзгу как с высокой колокольни смотришь. Что мне в его кокарде? Их, титулярных советников и коллежских регистраторов, может быть, сто тысяч в одном Петербурге, а нас, царских писарей, во всей России шести десятков не наберется. И жалованье он получает шестнадцать целковых в месяц с копейками, а я шутя сто и полтора ста выбью. И он прикован, как пес на цепи, к своему столу, а я – свободный художник, и мое имя люди высокого звания произносят с одобрением: «Пьет, прохвост, но единственный мастер писать на высочайшее».

Но и надо сказать: того, что мы могли сделать, того уже не повторят ни теперешнее поколение, ни будущее. Мы были остатками какого-то геройского, вымирающего племени, чем-то вроде последних кавказских черкесов. Конечно, в своей области. Хотите, я вам сейчас расскажу случай, первый, который мне подвернулся на язык?

Если вы днем поглядите вот в это окно, то как раз

напротив, через Фонтанку, налево от Чернышева моста, увидите большое, желтое с белым, здание. В нем помещается министерство, а в министерстве был когда-то экзекутором Николай Константинович. Прежде служили подолгу. Министры – и те лет по пятнадцати оставались на посту. А Николай Константинович, я полагаю, чуть ли не с самого дня постройки этого здания пребывал в нем экзекутором.

Тогда он был в своей должности замечательный, тончайший знаток дел и душ человеческих, но и величайший во всем свете ругатель. Его одного мы, царские писаря, боялись. Не брезговал он иной раз и от руки сделать внушение. Но нашей буйной братией он все-таки дорожил, знал нам цену и, когда надо, прятал нас за свою широкую спину и выгораживал из разных житейских невзгод и злоключений, коим и числа не было. И как он нашу работу понимал досконально! Бывало, поднесет бумагу плашмя на глаз к свету, точно прицелится из нее, и сразу все видит, где ножичком подчищено, где лаком притерто. И тотчас за вихор дернет или бумагой в лицо швырнет. «Переписать! – крикнет. – В другой раз за порчу царской бумаги штрафовать буду. У меня чтобы без помарок, без подчисток, без лаку и без сандараку!»

Когда приходилась в одном из нас какая-нибудь казенная надобность и одного писаря не оказывалось

внизу, в швейцарской, то уж было известно, что следует только послать курьера в эту самую полпивную, где мы с вами сидим. Тут мы постоянно и заседали, занимаясь частной клиентурой. Но бывали случаи, когда мы требовались в значительном количестве, и тогда уж мы сами рыскали по всему городу в погоне друг за другом. И вытаскивали товарищей из самых зланных мест.

Так-то однажды, часа в два пополудни, Николай Константинович и издал устный приказ: «Собрать царских писарей елико возможно больше, хоть всех, кто еще держится на ногах, и привести их немедленно в министерство. Работа срочная и очень важная. Придется, вероятно, просидеть всю ночь. Плата тройная против обычая, не считая того, что за спешку и за аккуратность пожалуют директор и министр. И чтобы немедленно».

Чиновники уже уходили со службы, когда мы явились впятером к Николаю Константиновичу и все сравнительно в добром порядке, и за старшего у нас Гаврюшка Пантелеев, знаменитый мастер распределять на глазомер материал. Осмотрел нас экзекутор взглядом острым и испытующим и пожевал губами.

– Маловато вас, братцы.

А Гаврюшка ему в ответ из модной тогдашней пьесы:

– Немного нас, но мы – славяне!

Знаю я, говорит, тебя, славянин, как ты в жениной кацавейке по Александровскому рынку бегал. Ну, однако, за дело, ребята. Каждая секунда дорога. К семи часам утра поспеть надо во что бы то ни стало. Случилось так, что государю угодно было весьма заинтересоваться одним вопросом по школьному делу, и он при министре выразил желание как можно скорее иметь подробную записку. А министр, по рассеянности, или по забывчивости, или просто так у него с языка от усердия соскочило, возьми и ляпни, что, дескать, доклад уже готов. Тогда государь сказал: «Вот и прекрасно, вы всегда, граф, предупреждаете мои мысли. Пришлите мне эту бумагу завтра пораньше. Я еду на два дня в Петергоф и там на досуге ее прочитаю и сделаю свои пометки». А о записке этой ни один человек в министерстве ни сном, ни духом.

Граф, когда узнал, за волосы схватился. «Если не хотите моей и вашей гибели, то чтобы к завтраму непременно доклад был готов. Хоть чудо совершите, хоть надорвитесь и ослепните, но записка должна быть составлена!» Ну, мы, конечно, обещали ему хоть в лепешку расшибиться, но его не подвести. «Теперь наверху Филипп Филиппович с Благовещенским да юрисконсульт с правителем в четыре руки катают. Через полчаса, пожалуй, окончат. И, значит, тогда, ре-

бятюшки, вся остановка за вами. Уж вы, братцы, не выдайте, а я вас, проходимцев, как и всегда, своими заботами не оставлю. Ведь я за вас, подлецов, перед директором слово дал».

Гаврюшка опять высунулся.

– Мы для вас, Николай Константинович, готовы свой живот положить. Но, не в обиду вам будь сказано, вы уж соблаговолите нам одну четвертную бутылку пожертвовать.

– Ведь облопааетесь, черти вы этикие?

– Будьте покойны. Мы свою меру знаем. Разве мы не понимаем, за какое строгое дело беремся?

– Ну ладно, – говорит, – хорошо, будь по-вашему. Только уж отсюда я вас больше не выпущу – и обижайтесь или не обижайтесь, – а я вас всех сейчас обезножу и обезглавлю.

И крикнул дежурному курьеру:

– Эй, Толкачев! Возьми-ка у царских писарей сапоги, шапки и собольи ихние шубы и спрячь под замок, а ключ мне передай. Водки же я вам сейчас пришлю.

А Гаврюшка опять:

– По вашему гениальному уму, Николай Константинович, вам бы государственным канцлером быть. А все-таки прикажите нам и закусочки принести.

– Это дело. Чего же вам?

– Да так... Хлебца черного, ломтиками нарезанно-

го, да соли покрупнее... четверговой. А если другая закуска, то, неровен час, пятно сделаешь на докладе.

– Молодчина, Пантелеев. Тебе бы, по твоей дальновидности, частным приставом быть.

А тем временем, пока мы так любезно промеж себя рассуждали, принесли нам и черновики. Гаврюшка, наш главный закройщик, примерил на глаз и даже при самом Николае Константиновиче свистнул. Оказалось, по его расчету, с полями страниц полтораста нашего обычного почерка рондо, по тридцать страниц на брата. Тридцать страниц – пустяки, можно их и в три часа наворксать, но ведь не на высочайшее же имя! Тут на страницу клади двадцать минут, а то и двадцать пять! Это выйдет десять часов такой работы, без отъема. Жутковато нам стало. Но, однако, мы свое знамя высоко держали и от такого подвига не отступили. «Часам к девяти, говорим, пожалуй, управимся».

– Братцы, нельзя ли, черти еловые, пораньше?

– Постараемся, Николай Константинович. Вы сами николаевский служака и помните, как в наше время говорили: невозможного нет. А теперь извольте идти и больше нам не мешайте.

– Иду, иду, – говорит, – только вы уж, пожалуйста, олухи мои возлюбленные, без помарок, без подчисток, без лаку, без сандараку.

Мы смеемся:

– Да у нас с собою и принадлежностей для этого нет.

– Ну и прекрасно. Эх, запер бы я и вас самих на ключ в этой комнате, как запер вашу одежку, да, чай, вы тоже люди живые. Однако без сапог далеко не уйдете.

Мы опять смеемся:

– Всяко бывает. Однако до приятного свидания, Николай Константинович. И раньше восьми с половиной просим нас не беспокоить.

Ушел он. Сейчас Гаврюшка нам черновик разметил, кому откуда до куда описывать. Изумительный он имел талант на это дело. Так в письме я был и бойчее и сноровистее его, а вот насчет разметки, – право, не мог никогда постичь, какая это у него пружина в мозгу действует. И вот засели мы за работу вплотную.

Тишина была, как в церкви ночью. Только перья скрипят; нет-нет кто-нибудь бумагой зашелестит... Сальные свечи потрескивают... Да изредка то один, то другой протянет руку к сосуду – буль-буль-буль-буль-буль... Стаканчик звякнет... Хлоп! И опять все тихо... Что вы думаете? Раньше восьми окончили. Николай Константинович, как было уговорено, заглянул к нам в половине девятого и ужаснулся. Видит, все мы пятеро спим, склонив буйные головы на стол, а на

столе перед нами не одна четверть, а две, и обе пустые. Это Гаврюшка Пантелеев среди ночи, босиком, без пальтишка и без шапки, к Пяти углам за второй посудиною стрельнул. А дело было зимою, и на улицах, по случаю мороза, костры горели.

Однако взял Николай Константинович аккуратно сложенную стопку переписанных листов, поглядел ее и так и на свет своим многоопытным взглядом и, не говоря ни слова, вышел на цыпочках, и дверь тихонько притворил, и приказал нас не будить. А в канцелярии он показывал нашу работу чиновникам и говорил со слезами на глазах:

– Вам, прекрасные молодые люди, с такой работой и вдесятером не управиться, хоть бы вы из кожи вылезли. Оттого что у них в деле душа, а у вас только ум, да и тот цыплячий...

Кузьма Ефимыч опять надолго замолкает. Потом произносит медленно и печально:

– Рассказывал я об этом случае Глашеньке, моей внучке. Ничего она не поняла. Даже рассердилась на меня. Говорит: «Мне не то страшно, что на такие пустяки люди тратили все свои жизненные силы, но меня ужасает, что они в этом полагали свое самолюбие». Так и сказала...

У него дрожит при этих словах голос, и мне кажется, что я в темноте вижу, как от обиды трясется его ниж-

няя губа. Но уже поздно. Я слышу, как хозяин чешет пятерней под фартуком свой живот. Затем он длинно и вкусно зеваает. И, наконец, голосом, еще тусклым от зевоты, говорит:

– А я тут было вздремнул под ваши веселые истории. Пора и свет пускать. Эй, Митюшка, Лаврентий, зажигайте лампы.

Кузьма Ефимыч встает, важно кивает мне головой, не спеша идет к дверям и выходит на улицу. Где он живет – никто не знает, и никто этим не интересуется. А если он перестанет ходить этак с неделю, то в пивной равнодушно скажут:

– А наш-то Кузьма Ефимыч, должно быть, помер...